



Владимир Алейников

Неизбежность и благодать

История отечественного андеграунда

Эта книга о русском андеграунде семидесятых годов XX века, одной из основных фигур которого, по мнению исследователей, был и сам автор. Герои книги – друзья и соратники Алейникова по «другой литературе» и «другому искусству» минувшей эпохи, получившие сейчас широкое признание: Сергей Довлатов, Венедикт Ерофеев, Генрих Сапгир, Андрей Битов, Анатолий Зверев, Михаил Шемякин, Александр Галич, Иосиф Бродский, Владимир Высоцкий и другие яркие творческие личности. Входящий в книгу роман-поэма «Пир» – номинант Лонг-листа премии Букера. Своеобразные, живые, динамичные воспоминания Владимира Алейникова – увлекательное чтение. Это проза поэта, со своей полифонией, пластикой, выразительностью речи, точностью деталей, мгновенно узнаваемая и надолго запоминающаяся.

Владимир Алейников

**Неизбежность и
благодать: История
отечественного андеграунда**

«Этерна»

2011

УДК 94 (47) "18/19" (0841)

ББК 63.3(2)5я6

Алейников В. Д.

Неизбежность и благодать: История отечественного андеграунда /
В. Д. Алейников — «Этерна», 2011

ISBN 978-5-480-00253-9

Владимир Дмитриевич Алейников – русский поэт, писатель, художник. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. С 1965 года его стихи стали публиковаться на Западе. При советской власти на родине не издавался. Более четверти века тексты его широко распространялись в самиздате. Первые книги появились в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Эта книга о русском андеграунде семидесятых годов XX века. Герои книги – друзья и соратники Алейникова по «другой литературе» и «другому искусству» минувшей эпохи, получившие сейчас широкое признание: Сергей Довлатов, Венедикт Ерофеев, Генрих Сапгир, Андрей Битов, Анатолий Зверев, Михаил Шемякин, Александр Галич, Иосиф Бродский, Владимир Высоцкий и другие яркие творческие личности. Входящий в книгу роман-поэма «Пир» – номинант Лонг-листа премии Букера. Своеобразные, живые, динамичные воспоминания Владимира Алейникова – увлекательное чтение. Это проза поэта, со своей полифонией, пластикой, выразительностью речи, точностью деталей, мгновенно узнаваемая и надолго запоминающаяся. Об авторе: Владимир Алейников – русский поэт, писатель, художник, родился в 1946 г. окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в школе, в газете. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. Начиная с 1965 года, стихи публиковались на Западе. Более четверти века тексты его широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых годах был известен как переводчик поэзии народов СССР. Издаваться на родине стал в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба.

УДК 94 (47) "18/19" (0841)

ББК 63.3(2)5я6

ISBN 978-5-480-00253-9

© Алейников В. Д., 2011

© Этерна, 2011

Содержание

Неизбежность и благодать	7
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Владимир Дмитриевич Алейников
Неизбежность и благодать
История отечественного андеграунда
Мемуары

Неизбежность и благодать



«Рассвет пятидесятых застиг всех врасплох, пока глаза привыкали к свету, сменился закатом, и день шестидесятых так и не наступил – и тут, к ночи, некстати распелись два юных соловья – Владимир Алейников и Леонид Губанов, освещая себе ночь собственным пением. Музыка и дыхание, серебряное горло. Что они пели, так заходясь? Поэзию как таковую. Так ценят певчую птицу – по долготе одной арии. Двадцать лет ночи вытягивали они свою ноту. Песнь Губанова оборвалась вместе с ночью. Алейников привыкает к свету».

Андрей Битов

«Владимир Алейников – классик новейшей русской поэзии. Я считаю его великим человеком, великим другом и великим поэтом. Он поэт редкой группы крови. Все мы – патриоты времени. Он – патриот пространства. Выход книг Владимира Алейникова стал событием. Алейников выиграл свое сражение и четко держит свою дистанцию в русской поэзии».

Евгений Рейн

«Владимир Алейников – живая легенда отечественного андеграунда, основатель и несомненный лидер содружества СМОГ, крупнейший современный русский поэт и замечательный писатель. В XXI веке по его воспоминаниям будут изучать жизнь и творчество минувшей эпохи».

Евгений Витковский

«Я не знаю, что нужно сделать, чтобы опубликовать все, что сделал Владимир Алейников. Он просто титан, я всегда тихо восхищаюсь, глядя на его вдохновенность, на то, как он работает, не взирая на обстоятельства и окружение. Наверное, при жизни все издать не удастся. Боюсь, что нужно умереть. Хотя бы на какое-то время. Или получить Гонкуровскую премию. О Нобелевской – не будем: она для политических игроков. Этим мы ведь никогда, слава Богу, не грешили... Считаю, что Владимир Алейников самый из нашей плеяды подлинный, глубокий и молодой».

Саша Соколов

«...„Слово“ Алейникова, полное смыслов, перекресток, где встречаются Пушкин, Аполлинер, Мандельштам и Хлебников, чувствительная мембрана, которое не только фиксирует, но и рождает, зыбкое и трепетное, выходящее за свои собственные пределы, вобравшее в себя запахи полыни крымских степей, шелест переделкинского леса, щемящие мелодии украинских песен и прозрачные серенады Моцарта в стенах московской консерватории – где красота вечного и мимолетного сливаются и каждая, частица пережитого не отходит в прошлое, но становится живой точкой бесконечной вселенной».

Виталий Пацюков

«Журнальный редактор читает раньше, чем другие. Поэтому сильнейшим для меня впечатлением за последние месяцы стал роман, который еще только увидят читатели. Это „Пир“ Владимира Алейникова. Такого Довлатова, такого Зверева, Сапгира, Холина, Венечку Ерофеева, как здесь, в мемуарной книге Алейникова, вы раньше не знали».

Сергей Чупринин

«„Пир“ – замечательная вещь. Это развёрнутая метафора. Владимир Алейников удивительным образом сумел воссоздать ушедшую эпоху. Перед нами оживает огромный пласт нашей культуры».

Наталья Иванова

«„Пир“ Владимира Алейникова непременно найдёт своих благодарных читателей (сам я из их числа). Это сильная и свободная вещь, исполненная вдохновенным и артистичным мастером. Печатать её было не „можно“, а нужно. „Пир“ – грандиозная поэма о богемном прошлом автора, о нищем и роскошном веселье ранних семидесятых, о ставших мифами „культурных героях“ отшумевшей эпохи – Сергее Довлатове, Венедикте Ерофееве, Анатолии Звереве и других замечательных друзьях Алейникова. Это – поэзия. Восхищаюсь громокипящим повествованием Алейникова».

Андрей Немзер

* * *

Что же, значит, опять – сквозь мглу, многолетнюю, многослойную, многозначную, – так уж вышло, – ту, что там, позади, в былом.

В ушедшем ли? Да, пожалуй. Наверное. Но, скорее, отошедшем – на шаг, всего лишь, или, может, на полшага, словно вглубь, или вдаль, или ввысь, да ещё и немного в сторону, – и движенье своё замедлившем, понимания ожидая.

Нет, никуда, похоже, сроду и не отходившем. Просто – незримо присутствующем, – рядом, всегда, навсегда. Сросшемся, исстари, накрепко, – не оторвать, – с людьми.

Находящемся: за плечами, за словами, за строчками этими, возникающими неожиданно, в сознании, в памяти, в мире.

Властно определяющем оттуда, издалека, из клубящейся, мгливой, тягостной, притягательной глубины, из мучительного, рачительного, несмотря ни на что, разъятия, – нечто важное, нужное, нынешнее, кровное. Может быть – главное.

Да, насущное. Давшее зрение. Определившее голос.

Оттуда – это извечное, дерзновенное, детское рвение и невиданное упорство чутко вздрогнувшей компасной стрелки: держать, вопреки обстоятельствам самым сложным, точно на север, – а дальше уж оглядишься, отдышишься, выберешь путь.

Оттуда – этот светящийся, чистый и точный звук запорошённого сыплющимся с высей сквозь век снежком, вымокшего в сплошных, несть им числа, дождях, но ржавью коварной в ненастье не тронутого камертона.

Выверенность единственно возможного – вот он – тона. Без язвой или занозой случайной ноющей трещины в упрямой и честной ноте, без налёта липучего фальши, без вкрадчивого, втихаря, вдруг никто не заметит, авось и сойдёт, ничего, всё бывает, подлаживанья под чужую, пастушью ли, идиллическую, Крысоловью ли, демоническую, далеко уводящую дудку. Явственного. Того, что сам по себе. И в бедах, и в радостях, пусть и несчастных, да зато настоящих. Чистого. И, заметим сразу, оправданного.

Поэтому – смело – туда, через морок стольких уж лет, – на свет ли, к теплу ли тянучись, – вот и вехи, ориентиры, приметы, штрихи, пунктиры, – всё это само собой собирается в ступок живой, – на биение сердца, на голос.

Да, читатель, отыщем по голосу.

Там, будто бы на пороге, на кромке, на грани, у входа – в настоящее ли, в грядущее ли, – в преддверии и в предчувствии решающего чего-то, кровно важного, в ожидании некоем, перед тем, что неминуемо случится, отменяя сомнения, дальше, высвечивается – лицо.

Разумеется, сразу – глаза. Говорящие больше, чем губы.

Что в глазах этих? – боль? – или страх? Или – свет? Или – вера в призвание?

Всё в глазах этих – всё, воедино, вместе, сразу, в единстве таком, что его разорвать невозможно, расчленишь, изуверски разрушить, – всё в глазах этих, – в них посмотри – в них увидишь и душу живую, и минувшее время, – лишь в них разглядишь ты в ненастную пору тот огонь, что в пути согревал, что спасал, не давая погибнуть в лабиринтах всеобщего бреда, что однажды навек озарил то, что творчеством люди назвали, хоть назвать это надо бы – чудом, или – миром, где радость жива бытия, – пусть и жили в печали, пусть в юдоли брели по земле, – всё равно в небесах неизбежных поднималась над каждым звезда.

Лоб упрямого, словно обиженного, чем-то иль кем-то, и крепко призадумавшегося ребёнка, в обрамлении то ли тёмных, то ли светлых, во всяком случае – ещё не начавших вдруг сесть, не седых, но туманных каких-то, вроде бы мглистых, а может, и просто волнистых, а может быть, и прямых, – не разобрать, каких, да и не надо вовсе разбираться в этом кому-то, всё равно, кому и когда, главное – что густых, важно ведь – что ещё не редющих, то закинутых по-птичьи, наискось, набок, то откинутых, резким, дерзким, но и детским, наивным движением, вверх, куда-то к затылку и к небу в облаках и звёздах, назад, тоже упрямым и даже непокорным, густых волос.

Вроде бы, так и есть, одна из первых – тогда, и вскорости традиционно устойчивая, привычная в нашем кругу борода, – но, может, и нет её вовсе, бороды этой, и она лишь воображается кем-то, подразумевается, только намеревается – быть, и глядишь – непременно будет, потому что она – вроде знака, вроде пароля, что ли, – с нею проще, с нею спокойнее в мире холода и тоски, с нею, братцы, куда надёжнее жить в советском псевдораю, потому что она – подобье постоянной защиты от вьюг, от немислимых завихрений – жизненных ли, огорчительных, связанных ли с судьбою, вынужденных ли, сознательных ли, – кто его разберёт, кто там определит, и надо ли это делать, если – мороз по коже, и отовсюду, куда ни шагнёшь, озираясь, – дует, сквозняком, ветерком заунывным, беспричинным, кручинным, досадным, – нет, ледяною стужей, гиблой, бездонной мглой, – и закружит, забросит в дебри, а что за дебри – сам всё узнаешь, сам всё расхлебашь, благо будешь незнамо где, – или в пустыню, в прорву, в глушь, – и поди попробуй вырваться из неволи, выбраться поскорее из ниоткуда – к людям, к свету, с которым – легче, – так почему же надо маяться отрешённо, мыкаться без приюта где-нибудь на рассвете или в потёмках, снова чувствуя безысходность существования, – зная: как ни крути, придётся преодолеть и эту вынужденную преграду, – трогая вдруг ладонью выросшую щетину, кутая горло шарфом, взгляд безутешный пряча, – может быть, от прохожих, призрачно-зыбких, редких, может быть – от бесчатья, может быть – от ментов, – мало ли что стрясётся? – лучше уж – с бородой, словно в броне и в шлеме, – впрочем, поди гадай, кто это там, каков он, – с бритыми ли щеками, с выросшей ли нежданно свежую бородой, – наш или нет? – сощурься, вглядываясь, – меж тем образ его двоится, десятирится, множась, – и потому неважно, что у него за вид, – мне-то куда важнее, что у него в душе, чем он, бездомный, дышит, чем он, мятежный, жив.

Глуховато-гулкая речь, о, сама эта характерная, достоверная, беспримерная, убедительная манера говорить – изначально сдержанная, но, со шлейфом каких-то импульсов электрических, интонаций и вибраций, спиралью вьющихся вслед за нею, определённая, словно разом, без обиняков, подводящая смело черту под усвоенным и осознанным, – так дети порой говорят, что-то осмыслив, поняв, преобразив и оставив отчасти, поскольку так уж выходит у них, трансформированным, творчески, непременно, и никак не иначе, дополненным, в просторной, как ясный полдень, памяти дивной своей, – имея мнение собственное о предмете и право имея на

суждение, личное, собственное, – поняв, но всё-таки тут же, незамедлительно, сразу же, давая каждому слову, своему, разумеется, новую, совсем другую, особенную, волшебную, щедрую жизнь, даруя миру всему эту светлую, свежерождённую, живую, живее некуда, трепещущую частицу вселенского бытия.

Но прислушайся чутче – быть может, эта речь – иная, допустим – неожиданно звонкая, льющаяся на высоких, почти поднебесных, отдающихся эхом раскатистым в отдаленье заречном, тонах, или – сбивчивая, даже путаная, торопливая, забегающая то и дело вперёд, и подика поспевай за нею, всё рвущейся сквозь пространство, на волю, или же – излишне, бывает и так, ничего не попишешь, замедленная, или ещё какая, – да не всё ли равно? – и звучит, вернее, звучала она – там, в былом, и многоголосьем неустанным всегда отдавала, потому что была в своё время – речью круга, плеяды, среды, и была в ней – полифония, и каждый отдельный голос вёл свою, а не чью-нибудь, тему, выпевал, неизменно, свою, а не чью-то чужую, мелодию, – и всё это вместе, в единстве, в гармонии, сложной, всеобщей, и всеми по-своему чуемой, выражаемой, кто как умеет, было бы что ощутить, и, по возможности, выразить, – было музыкой, речью эпохи, гулом, слаженным и разлаженным, слитным или же, в силу многих, грустноватых причин, раздробленным, но тяготеющим к ладу, ищущим и находящим в каждом отдельном случае звук свой, а с ним и верный тон, а потом и слово, чтобы возникла – речь.

В клубках и волокнах слоистого, тягучего, поглощающего звуки и тени, тумана, в выплесках тусклого, словно теснимого кем-то невидимым в сторону, на обочину, но упорного, стойкого света, брезжущего сквозь темень, брызжущего сквозь ливень, страдающего, но всё же реющего сквозь снег, – вроде бы, поглядим-ка повнимательнее, высокая, ежели не сказать, по привычке давнишней, – длинная, неузнанная фигура идущего человека.

Но, может, и коренастая, приземистая фигура, плотная, крепко сбитая, – всё это словно не в фокусе, оптику не подобрать, чтобы понять – какая, главное – что не тень.

Кто он, идущий молча, – там, в отдаленье? Друг? Просто – знакомый? Недруг? Лучше бы – друг... Считал я всех вас тогда друзьями, – всех, кого знал, – вас много было... А этот – кто?

Поджар, сухощав, жилист. Не от райской жизни, наверно. Не от сытных, пожалуй, хлебов. Та самая жилистость в нём, двужильность в нём безусловная, что всегда почему-то выводит, хотя и с большой охотой вытягивать эти жилы находятся мастаки.

Вроде сугуловат. Но нет, это так, в меру. Ложилось ведь что-то на эти плечи, пытались пригнуть голову эту, крепко посаженную, – да не вышло ничего у них, устоял, – разве что молча терпел, бременем тяготился, – крест принимал свой и нёс его честно, как полагается, всю тяжесть его ощущая.

Походка, повадка, – что там ещё? Вглядеться. И вслушаться. Человек, и всё в нём – своё, личное, незаёмное.

Небось, поэт. Ну ещё бы! Это он, он, – а кто это – он? Он и есть. Есть? А может, художник?

Ну конечно, художник! Несомненно, художник! Вот, смотрите, – и руки в краске, и под мышкою тащит что-то вроде свёрнутых в трубку работ, намалёванных на бумаге – той, что под руку подвернулась в час, когда на него нашло вдохновенье – и в ход пошло всё, что было вокруг, – и уголь, и сангина, и акварель, и гуашь, – лишь бы только это состоянье не упустить, потому что потом сложнее рисовать, а сейчас – вперёд, не зевай, налегай, малюй, – и в итоге к утру склоняйся над горою работ, один, в непонятно какой, пустынной, комнатушке, нищий король. Или это всё же картоны? Или холст? Ведь похоже – в трубку грубо свёрнутый, свежий холст!

Не понять!.. На углу фонарный покачнулся под ветром отсвет, по ногам снежком потянуло, руки зябнут. Не разобрать – кто стоит у стены без окон, без дверей, кто идёт, сугулясь, вдоль трамвайных блестящих рельсов, и позёмка – вдогонку, вслед.

Кто он? Был ли он? Или – есть он?

Есть, конечно! Расплывчат образ. Крупным планом – глаза. Крупнее, как в кино. Что, узнал? Да вроде. Присмотрись. Узнаёшь? Ну то-то. Он и есть. Только – кто? Знакомый. Свой. Ты что, не узнал? Ну, здравствуй.

Так и было все эти годы. Живущий, поддержанный, дышащий поэзией, этот некто, случалось, нередко случалось в годы прежних гроз, и молчал – внешне, вот что хотелось бы, сознательно, уточнить. Никогда в нём не замирала и нигде в нём не утихала внутренняя, закрытая от глаз посторонних, работа.

Слову, как там ни тщись, не прикажешь, не заставишь возникнуть, – оно, иногда и подолгу, ждёт своего заповедного часа. И является слово к тебе лишь в такие мгновенья, когда его присутствие в мире жизненно необходимо. И, явившись, оно спасает. И земные дни продолжает.

Внешне – какие-то, всяческие, для заработка, обыденные, никуда ты от них не денешься, утомительные труды. Имеющие, наверное, ценность самостоятельную. Но это – горькая ценность извечного выживания.

Внешне – весьма и весьма скромное существование во мгле многолетней и мороке затянувшегося безвременья, – существование, грустное, что там скрывать, человека независимого, талантливого, мыслящего, обо всём имеющего своё собственное, непохожее на другие, личное мнение, человека ранимого, гордого.

Внешне – может быть, даже и некоторые, почему бы и нет, бывало ведь, успехи на том, другом, дающем прокорм поприще.

Если было оно у кого-то, это житейское поприще.

У некоторых и его не было никогда, – и такой, казалось бы, малости.

Но там, внутри, в глубине, в душе, – мир, в который это внешнее, повседневное, по существу – условное, вынужденное, – не вхоже. Вот что важно. Вот что существенно.

Двойственность? Нет, разумеется. Просто – защита души. Собственноручно выкованный, какой-никакой, но панцирь, латы, если хотите.

Тогда что же? Добротно-мистический – вот, мол, я, – мотив двойника?

Помилуйте! Всё куда проще. Цельности не занимать. Скажем определённое: человек живёт именно так. Не шкуру же, озадачившись не на шутку, с него сдирать, чтоб разглядеть дотошно, – что же там такое, внутри.

Давно, и успешно, по-своему, сложившийся человек. И, заметим, с характером. Личность.

Таков этот некто. Встречный? Окликнутый ли в ночи? Знакомый? Приятель? Друг ли? Возможно, житель столичный. А может, провинциал. Гражданин, представьте, бесчасья. Поры без прав, но с обязанностями. С повышенными чрезмерно требованиями вьедливыми к человеку – со стороны всемогущего государства. Царства? Коварства? Мытарства? Требований. Претензий. К человеку – со стороны. Чуждому, безусловно, – режиму, бедламу, бреду. К человеку – живущему осторонь. От всего, что мешает работать. От всего, что дышать мешает. Странному человеку. Слишком уж одинокому. Тянущемуся – к своим. И находящему их. Путь свой в ночи находящему. Верящему: не случайно всё, в глухомани этой, в этом затишьи, в удушье, с ним происходит. Будет свет на пути. И встанет в небе звезда над ним. Истинно говорю вам: да, он таков. Таков.

И такова, поймите, его, человека, поэзия. Ибо и в ней он – личность.

Пишущий ли стихи свои или прозу свою раскованную, рисующий ли свои удивительные картинки, исполняющий ли порою в тесном, узком кругу знакомых, сочиняющий ли свою многозвучную, новую музыку, он прежде всего – поэт. И его, та, что прежде всего в мире нашем тревожном, поэзия, всё на свете в себя впитав, переосмыслив и выразив, по-своему, как и положено, издревле, вот здесь, на земле наших пращуров мудрых, время, стала одной из важнейших, незаменимых примет этого сложного времени, – в силу своей несравненной про-

никновенности, подлинности, вдохновенности, определённости, выстраданности, ответственности, верности русскому Слову.

Какой-нибудь дока, исследователь, старательный комментатор, – из тех, что привычно и ловко раскладывают по полочкам созданное другими, – ещё изумится когда-нибудь очевидной взаимосвязанности того, что написано было некоторыми, в отечестве прежнем нашем, едином для всех нас, несокрушимом, казалось когда-то, жившими, творческими, непохожими на сограждан многих, людьми в бурные шестидесятые, смутные семидесятые, странные восьмидесятые, и в нагрянувшие девяностые, в новом уже государстве, вроде бы и свободные, на поверку дикие, годы, – и тогда-то, в скором грядущем, узаконят, небось, понятие обобщающее: плеяда.

В нашей звёздной плеяде он, человек, безусловно, загадочный, встреченный мною в ночи, увиденный мною сквозь время – и обязанный обрести имя своё, заслуживший право быть наконец-то признанным и понятым, – человек чести и долга, прошедший всевозможные испытания на прочность, отнюдь не сгубившие, не озлобившие его, но лишь закалившие дух.

Его сокровенная, страстная поэзия существует в стихии русской, бессмертной речи родной – и это необычайно важно. Его живопись или графика, если он художник серьёзный, – разумеется, тоже поэзия. Его музыка, если он музыкант или композитор, – безусловно, тоже поэзия.

Его поэзия, выросшая из сора ушедшей эпохи, значительна – и не только потому, что, как же иначе, только так ведь, оригинальна, что личностна, что независимый поэтический редкостный голос очевиден для всех, но ещё и потому, что сквозь ткань лирическую светоносных стихотворений – а с ними и живописных мазков, графических линий, аккордов, мелодий, тональностей, – вообще всего, что искусством называется, вообще абсолютно всего, что издревле, и поныне, до наших дней, именуется просто творчеством, да и впредь, полагаю, будет называться именно так, – проглядывает всё чаще, как лицо Медузы Горгоны, – пусть вкраплениями, деталями, характерными, достоверными, выразительными штрихами, без надрыва, без аффектации, ненавязчиво, но неминуемо, порою даже как будто бы тактично, без перебора, но всё-таки неотступно, во всём вокруг оставаясь, надолго, нет, навсегда, прижившись в пространстве, со временем сроднившись навеки нашим, ибо вьелся, впитался, вошёл незаметно, давно проник в кровь, в поры, в любую клетку тела, в любой, на выбор, если хотите, год, или день, или час, или миг, – и не только, замечу, проглядывает, но и смотрит на вас в упор – тот небывалый доселе и уникальный *эпос*, который немислимо было поодиночке создать, но который когда-то встарь создавала и создаёт и теперь, в другую эпоху, в новом веке уже, – вся плеяда.

С биографией всё куда проще, – а судьба поэта звездой встает из его творений. Судьба сия – суть понятие живое, вот что прекрасно, даже если жизнь человека, земная трудная жизнь, юдольная, – прервалась рано, или же, в срок, отпущенный, завершилась. Судьба сия – суть понятие, во все времена, живое, ибо есть у неё развитие и в грядущем, она – продолжается, устремляясь вперёд и ввысь. Потому что живёт – уже творчество.

Развитию этой творческой, самой важной, главнейшей линии судьбы не только, включаясь в звучание, вовлекаясь в поле с мощным воздействием, вторит, но и, смелея, освоившись постепенно в области, переполненной тайнами и загадками, откровениями и прозрениями, ведёт уже первую партию – её утверждение в мире.

Слово в душах людских находит отклик – знак пониманья возможного. Слово, в досталь прежде намаившись, почву твёрдую обретает.

В виде книги. В виде легенды. В виде яви – уже навсегда.

Подтверждается, утверждается факт присутствия в русской поэзии – человека, мною увиденного сквозь туманную пелену безвозвратного, да, наверное, только в памяти уцелевшего, невозможного нынче времени, мною встреченного когда-то, вдруг, случайно, в ночи столичной, или, может, провинциальной, или, может быть, вообще, всё бывало, Бог знает где, но –

своего, из наших, мне-то ведомо, что – из плеяды. Утверждается. Продолжается. Не для слишком банальной, походя кем-то сделанной наспех, отписки, не для нужной зачем-то, видимо, по привычке, так, для порядка, в канцелярских гроссбухах, галочки.

Перед кем, скажите по совести, нам отчитываться, сограждане? Перед Богом? От Бога – дар. Творчество же – для людей, обращается творчество – к людям.

Присмотрись, читатель теперешний, присмотрись к прохожему, к встречному, – он ли? Тот ли? К тебе ли шёл он – там, в ночи? Да, к тебе. Узнал ли ты его? И выходят книги в свет. И, в путь устремившись снова, непременно к тебе придут.

Ночь, ну а в ней – клич.

Клич, ну а в нём – ключ.

К тому, что в судьбах. В жизни. В каждом слове.

Лишь к яви рвётся речь из недр былого.

* * *

Однажды Володя Яковлев учил своего знакомого рисовать обычное вроде бы, но волшебное, видимо, яблоко.

Володя взял из буфета, подержал сперва на весу, а потом положил наливной, магазинный, слегка помятый, желтовато-зелёный с виду, но поигрывающий своим удивлённо-румяным, глянцевым, симпатичным, весёлым бочком, несомненно, бесспорно, съедобный, ошутимо, зримо предметный, довольно тяжёлый в ладони, райский плод на самую грань, на краешек своего рабочего, перепачканного разнообразными красками, заваленного донельзя разноформатными, белыми, жёлтыми, серыми, плотными и потоньше, листами бумаги, загромождённого всякой всячиной, – от пустых и полных, нераспечатанных пачек недорогих отечественных сигарет, спичечных коробков, упаковок с почти непонятными, бесчисленными, (прописанными ему, от щедрот своих, советскими, то есть, всезнающими врачами, какими-то снадобьями, лекарствами, предназначенными для того, чтоб его исцелять от чего-то, весьма туманного, но чего же конкретно, этого не могли врачи объяснить), до баночек симпатичных с гуашевыми, любимыми яковлевскими красками, высохшими и свежими, разнокалиберных, мягких, беличьих, колонковых, и щетинных, пожёстче, кистей, карандашей, заточенных и новых, в пёстрых коробках, пастели, соуса, угля, сангины и даже школьных учебников и тетрадок, – слегка с годами расшатанного, старого, но, пожалуй, всё же ещё надёжного, удобного и вполне его до сих пор устраивающего, привычного для него, человека неприхотливого, хорошего, да и только, годящегося для трудов, для того, чтобы дни и ночи коротать за ним, размышляя о своём и частенько беседуя с высотой у окна художника, о которой он, её друг, сочинил когда-то стихи, чудесного просто, славного, сказочного стола.

Сам сел тихонько в сторонке и принялся наблюдать.

Поскольку я находился тогда в гостях у Володи и сидел с ним бок о бок, рядом, то за работой этого рьяного ученика пришлось наблюдать и мне.

Рослый, достаточно плотного сложения, гладкий, упитанный, какой-то очень уж сытый, довольный, вальяжный, кажущийся слишком самоуверенным, весь поперёк себя шире, с выпирающим из-под модного пиджака тугим животом, с одутловатым лицом, вскоре покрывшимся мелкими, обильными каплями пота, занимающий слишком уж много места в крохотной комнатухе, служащей одновременно и спальней, и мастерской Володе, переминающийся с ноги на ногу перед мольбертом с аккуратной, до щепетильности, прикрепленным им самолично к вертикально, плоско поставленному на него, большому, неровному куску желтоватой фанеры, листом на редкость хорошей ватманской чистой бумаги, в четырёх уголках которого поблёскивали четыре новёхонькие канцелярские, с круглыми шляпками, кнопки, яковлевский ученик пыхтел, покряхтывал, шумно и непрерывно вздыхал, вертел в руке своей остро отточенный

карандаш, царапал узеньким грифелем зажатого намертво в потной, волосатой, хваткой ладони гранёного карандаша, многострадального, хрупкого, но терпеливо сносящего животный упорный натиск, по белой плотной бумаге, постепенно, всё гуще, больше, покрывающейся зигзагами неуклюже, беспомощно выведенных грубоватых линий и сеточками разъезжающихся охотно вкривь и вкось, норовящих выскользнуть из-под грифеля, кривоватых, нарочитых, шероховатых, как наждак, рябоватых штрихов, – и очень старался, чтобы у него получилось похоже.

Володя молчал. Молчал – и терпеливо ждал.

Ждал и я. Что ещё, согласитесь, оставалось в такой ситуации, непростой, нестандартной, мне делать?

Да было и любопытно – что же в итоге выйдет?

Но процесс рисования, видимо, затягивался. И Володе, по своим законам живущему, со своими думами свыкшемуся, со своими ритмами ладящему, своему горению жертвенному безраздельно, всецело преданному, это уже надоело.

Потянувшись к столу, он не глядя, привычным жестом, на ощупь, достал из лежащей там полусмятой, с белыми буквами по красному фону, пачки московской, без фильтра, «Примы» сигарету, потом нервно чиркнул спичкой, взглянул на огонь, чуть сощурился, потом закурил, глубоко и часто затягиваясь и рассеянно выпуская заставляющий морщиться, горький, разъедающий лёгкие дым изо рта густыми клубами, постепенно всё больше окутываясь шаткой, иссиза-белой табачной волокнистой пеленой, отчего напомнил мгновенно мне свой же собственный, знаменитый, с полнозвучными вариациями, словно в музыке, а не в живописи, поразительный, с попаданием, как порой говорится, в яблочко, прямо снайперский, не иначе, и похожий на эту стихию, потому что и сам был стихией, утверждаю, «Портрет ветра», помедлил ещё немного, а потом наконец решился.

– Алейников! – несколько чопорно и в то же время смущённо, как школьник, сказал он мне, – покуда мой ученик рисует моё же яблоко, давай с тобой позанимаемся.

– Давай давай заниматься! – поддержал его сразу же я.

В ту пору Яковлев, зрелый, известный не только в отечестве, где считался он запрещённым, что ему прибавляло славы, ибо сладок запретный плод, но и в странах иных, зарубежных, посвободнее, дивный художник, несомненный гений, как все из божественной среды считали, забеспокоился вдруг о том, что нет у него даже среднего образования.

Это его и томило, и смущало, – и даже терзало.

Ну как это так? Ну что же это за огорчение? Ну почему же так получается? Все вокруг – с образованием. Все, кого ни возьми, кого ни припомни, даже случайно, все решительно – сплошь образованные. И не только со средним, школьным, простейшим образованием, – это уже и в расчёт никогда никем не берётся, – но и с высшим. Причём таких вот людей, солидных, с дипломами, то есть, уже отучившихся, или пока что ещё продолжающих где-то учиться, в институтах разных, и даже, что престижней, в университетах, – и, следовательно, после окончания высших учебных заведений, тоже, конечно, имеющих все шансы получить, попозже, дипломы, среди яковлевских знакомых, оказывается, не просто много, их – большинство.

И один Володя – всего-то несчастных четыре класса средней школы закончил. Или, может быть, всё-таки пять? Он и сам уж точно не помнил.

И это – он, Яковлев, сын образованного отца-инженера, он, внук известного художника, именуемого русским импрессионистом, самого Михаила Яковлева, после дикости революции, с её ужасами немалыми, с торжеством не напрасно предсказанного здесь, в России, грядущего хама, что успел уже превратиться в настоящего, слишком реального, чтоб его не видеть воочию, чтоб не чувствовать, что может вскоре натворить этот монстр, уехавшего, как и многие, в эмиграцию, подальше от бед, во Францию.

Все в роду его были грамотными. Что же, он один – недоучка?

Есть, конечно, загвоздка, есть. Ещё в отрочестве, давно уж, он едва не лишился зрения. Был какой-то там нервный стресс. Было страшно. Словами это вряд ли выразишь. И не надо выражать ничего. Пускай остаётся невыразимым. Пусть молчит о себе. Но это – дело прошлое. Что-то в мире, взрослым став, он ведь он всё-таки видит!

И Володя решил учиться. Рассудил он просто: учиться никогда не поздно. Припомнил пусть и старую, но живучую, из упрямства, полезную истину, вдруг открывшуюся для него новой гранью своей – и сразу же прозвучавшую для него, вдохновлённого ею на подвиги, на дерзания в области знаний, где открыты немалые ждут на пути, откровением новым.

Он поступил – в шестой, представьте, в шестой класс вечерней школы рабочей, с производством, наверное, связанной, заводской, возможно, фабричной, от станков, от прокатных станов, от мартенов шагающей весело, с транспарантами, флагами, песнями, на подъёме, ликуя, в сторону, где, с букетами роз и гвоздик, ждёт их среднее образование, положительной молодёжи. Ему там пошли навстречу. Его туда – тоже приняли. И не в какой-нибудь там пятый, всего-то навсего, класс. А прямо в шестой!

Он стал вечерами ходить на занятия. Начал, сызнова, с запозданием, привыкать к школьной, строгой, нелёгкой жизни.

В вечерней школе учащимся, решительно всем, задавали, всё чаще и чаще, домашние, да, к тому же, достаточно сложные, загадочные задания. Их следовало выполнять. За них учащимся ставили, представьте себе, оценки.

Приходилось учить уроки – точно так же, как в прежние годы, когда-то, давным-давно, ещё во время войны.

А Володе было уже тридцать шесть полновесных лет. Не совсем, если честно, школьный, не вполне подходящий возраст.

Несоответствие грустное выстраданных его, искренних, чистых намерений получить, во что бы ни стало, должное образование – чтобы как у людей, обязательно, свой аттестат зрелости, отучившись, как все, занять! – и суровой школьной действительности, в которую нынче Яковлев, при всём немалом старании, совершенно, никак не вписывался, – сказывались всё чаще, буквально на каждом шагу.

С каждым учебным днём Яковлеву приходилось всё труднее. Он мучился этим. И – терпел. И, конечно, страдал.

Вот и сейчас ему надо было писать сочинение по русской литературе, обычное, заурядное школьное сочинение на заданную, по программе школьной, скучную тему.

Писать – это слишком легко сказать. Ну, писать. Но – как? Попробуйте-ка. Получится? Это ведь – не рисовать!

Дело, для многих плёвое, оказалось неожиданно серьёзным.

Володя, почуяв неладное, занервничал – и, по-свойски, напрямик, обратился ко мне с просьбой о срочной помощи.

Так всё совпало, что я как раз позвонил ему.

Стояла прохладная, зыбкая, с жемчужным отсветом, с жилкой бирюзовой, с туманным будущим, осень семидесятого. Шёл дождь. На мокром асфальте валялись донельзя разбухшие от влаги, наспех примятые подошвами хмурых прохожих, жгучие жёлтые листья. Налетавший под настроение, как ему пожелается, ветер срывал с напряжённо вздрагивавших, обречённо черневших ветвей, набрякших тяжестью жертвенной, посмурневших, усталых деревьев целые вороха разнообразно окрашенных, желтеющих, алых, оранжевых, палевых, багровеющих, трепещущих в воздухе знобком, с ужасом и восторгом, бесчисленными сердечками брошенных разом в пространство, без всяких иллюзий, навеки, привыкающих к переходу в пятое измерение, смирившихся с тем, что вскоре уйдут они в зазеркалье, останутся там, за гранью, как

наши воспоминанья, с надеждою на свиданье, а может, и воссозданье, мотыльковых, рискованных листков и расшвыривал их по всей отзывчивой, сострадательным взглядом их провожавшей, округе.

Я бродил по городу. Молча. В одиночестве. Долго. Тогда, в годы молодости, любил я так вот, вроде бы и бесцельно, а на самом деле, наверное, далеко не случайно, часами, в состоянии странном, близком к трансу, что ли, гулять под дождём.

Вспомнил вдруг не кого-то ещё из друзей, но именно Яковлева. И немедленно захотелось мне услышать голос его.

Может быть, на мысль позвонить ему натолкнули меня цветы – белые, с отсветом неба, звёздчатые, мохнатые, крупные хризантемы, целый ворох этих чудесных, совершенно мокрых, озябших на ветру, осенних цветов, защищаемых от ненастья прижимавшей их крепко к себе, не теряя надежды кому-нибудь их продать, невзрачной старушкой в прозрачном, длинном, до пят, надетом поверх поношенного старенького пальто, спасительном, непромокаемом, вполне надёжном плаще, терпеливо, кротко стоявшей на сыром ветру, под дождём, у выхода из метро.

Ну а может быть, позвонить ему захотелось мне потому, что стоял, от старушки поодаль, пожилой человек, без плаща, в рваной куртке, с аккордеоном – и наигрывал он мелодию из феллиниевской «Дороги», ту, любимую мною, мелодию, что играла Джульетта Мазина, глядя вдаль глазами Кассандры, находясь ещё в настоящем, но уже прозревая грядущее, отрешённо, печально играла на своей серебряной, звонкой и, конечно, волшебной трубе.

Как бы там ни было, кто бы ни повлиял из них тогда на моё настроение, важен, в первую очередь, как я всегда говорю, первоначальный импульс.

Поэтому тут же, увидев телефонную будку поблизости, я направился к ней. Набрал хорошо известный мне номер Володиного телефона, услышал я сразу знакомый голос – будто Володя, интуит настоящий, тогда же, телепатически чувствовал, что я сейчас позвоню.

– Алейников! Здравствуй, Володя! Как я рад, что сейчас ты звонишь! – закричал, на высоких тонах, Яковлев в трубку. – Скорее приезжай ко мне! Выручай!

– Что стряслось у тебя? – озадаченно, с беспокойством, спросил я его.

– Ты поэт, – взбудоражено, громко, торопясь, говорил мне Яковлев, – а значит, я это знаю, получше других разбираешься в русской литературе. И сочинения, думаю, тоже умеешь писать. Наверняка умеешь. Понимаешь, старик, – тут Володя выдержал, шумно дыша, небольшую, смущённую паузу, но потом, после этой заминки, преодолел себя и впрямую мне высказал искреннее, выстраданное своё желание, а вернее – глубокую, важную просьбу. – Без тебя мне никак не справиться. В школе задали нам сочинение написать. Приезжай. Помогите. Двойку мне получить ни за что нельзя. Мать будет ругаться. Она и так на мою учёбу, как на причуду, смотрит. Я пробовал сам писать. Я не раз уже пробовал. Я старался. Очень старался. Но... – тут Володя устало, тяжело, глубоко и горестно вздохнул, – никак не выходит. Я знаю – нужна твоя помощь. Приезжай ко мне, прямо сейчас. Ты где, далеко находишься?

Телефон-автомат, из которого я звонил тогда, находился в двух шагах от метро «Краснопресненская».

Когда я сказал об этом Яковлеву, он тут же бурно возликовал:

– Ну, так ведь это близко совсем. Не то чтобы рядом, но всё-таки близко, почти рядом. Считаю, что рядом. Садись-ка давай на автобус – и ко мне, поскорее. Ладно?

– Хорошо! – сказал я Володе. – Ты, пожалуйста, успокойся. Постараемся справиться вместе с твоим заданием. Жди. Отправляюсь. Прямо сейчас. И, надеюсь, приеду скоро.

– Понимаешь, – воскликнул Яковлев, – ко мне тут пришёл ученик. Мой ученик. Рисовать у меня научиться хочет. Я ему дам своё задание – пусть он трудится. Нам он мешать не будет. Пожалуйста, приезжай!

– Постараюсь к тебе приехать поскорее, – ответил я.

Возле метро находилась остановка нужного мне автобуса. Он как раз подошёл, широко, далеко разбрызгивая в обе стороны шуршащими по усыпанному опавшими квёлыми листьями, заезженному вконец, с ямами и буграми, с трещинами, асфальту своими донельзя мокрыми, ребристыми, старыми, стёртыми до лысин сплошными, колёсами фонтаны и струи воды из взбудораженной им, выплеснувшейся мгновенно из берегов, отражающей серое небо, лужи.

Съёженная под дождём, сбитая в кучу очередь сограждан, уехать желающих поскорее, воспрянула духом – и ринулась всею массой вперёд, к открывшимся дверцам.

Я заскочил в автобус – и минут через двадцать, наверно, уже заходил в подъезд хорошо и давно мне известного, с натяжкой башнеобразного, сыровато-белого цвета, стандартного блочного дома на Шелепихинской набережной.

Быстро поднявшись по тесной, крутой, спиралеобразной, лестнице с полуоторванными, болтающимися перилами на нужный этаж, запыхавшись от восхождения этого, в общем-то альпинистского, я позвонил в дверь яковлевской квартиры.

Не успел мой звонок затихнуть, как дверь, сама по себе, словно в сказке, или же с помощью чьей-нибудь, но сразу же, настезь, гостеприимно, празднично, радостно распахнулась.

На пороге уже стоял, улыбаясь мне, как цветок, маленький, большеголовый, черноглазый, смуглый Володя.

Короткие восклицания, предложенный с ходу чай, – и вот я, снявший в прихожей свой тяжёлый, промокший плащ, прошёл с Володей вовнутрь, присел, закурил, хлебнул горячего, ароматного, с лимонной долькой, чайку – и вскоре, согревшись, пришёл в себя, отдышался с дороги.

Квартира была у семейства Яковлевых, по масштабам отечественным, достаточной для жизни, то есть двухкомнатной. В той комнате, что побольше, понаряднее, жили мать с отцом. А в крохотной, дополнительной, примыкающей сбоку к родительской, то ли будке, то ли клетушке – обитал Володя. Имелись также – прихожая тёмная, узенький коридорчик и небольшая кухня, на которую гости нередкие, поклонники и покупатели яковлевских работ, обычно и не заглядывали.

Вся жизнь здесь шла, всё людское, покупательское, гостевое, приятельское роение, брожение, – в основном в клетушке Володиной, спальне и мастерской заодно, способной всех почему-то вместить, словно в нужное время расширялась она, увеличивалась, хоть на деле была натуральной конурой, в которой простором и не пахло, но пахло лекарствами, табаком и свежими красками, пахло сыростью, в форточку рвущейся, да цветами полусохшими, пахло яблоком, – да, вся жизнь проходила здесь, – и, пореже, так, при надобности, по случаю, в той, побольше, родительской комнате, но всегда – лишь вокруг Володи самого и его работ.

Мать сегодня, по счастью, отсутствовала. Оттого, что её, пусть и временно, ненадолго, всё-таки не было, что давящего, тяжёлого, бдительнейшего, хищного внимания и её вечного, неустанного, базарного прямо, контроля над тем, что в любую минуту дня и ночи, утра и вечера, происходит в доме, в семье, где над всеми она довлела, безгранично и грубо властвовала, тоже, стало быть, нынче не было, – я чувствовал здесь себя и спокойнее, и свободнее.

Отец Володин, воспитанный, сдержанный, интеллигентный человек, из хорошей семьи, с закваскою заграничной, обаятельный, чуть ироничный, но, по большей части, задумчивый, весь в себе, весь внутри себя, душу запросто не распахивавший, наблюдательный, осторожный, грустный, стоически терпевший власть суровой супруги, был там, где чувствовал он себя повольготнее, – на работе.

В квартире сейчас находились мы втроём – Володя, взволнованный, озабоченный, озадаченный тем, что, надо же, так некстати (потому что лучше бы просто пообщаться ему со мною, по душам, как порой бывало, с перерывами, но бывало, не однажды, в кои-то веки, с глазу на глаз, поговорить), непонятно, зачем, писать это школьное сочинение, будто свет на нём клином

сошёлся, будто нет у него других, поважнее, занятий и даже неотложных, серьёзных дел, – я, пришедший в гости к нему, да не просто так, но со смыслом, со значением, с целью, то есть, чтобы другу срочно помочь, – и неведомый мне, солидный, рослый яковлевский ученик, то ли вежливым, то ли небрежным, этак вскользь, коротким кивком поздоровавшийся со мной, но, как только поставил Яковлев перед ним на рабочий свой стол яблоко, для рисования, сразу же, слишком подчёркнуто, давший понять мне, что занят, что времени драгоценного зря терять он здесь не желает.

Ещё бы! – ведь не к кому-нибудь, а к самому Володе Яковлеву, пришёл учиться! Ну, коли пришёл – так давай, дерзай, постигай азы искусства, учись.

Получивший от мэтра задание ученик прилежно трудился. Рисовал: старательно, вдумчиво, неторопливо. Долго рисовал. Отступал от мольберта, прицеливался на рисунок. Подступал поближе, подумав, добавлял шершавый штришок.

За серьёзным этим занятием, чтоб ему творить не мешать, мы его, на время, оставили – с яблоком наедине.

Мы с Володей прошли в родительскую, что побольше, получше, комнату и у ourselves вдвоём, бок о бок с ним, за коричневый, лакированный, очевидно, парадный стол.

Все стены в квартире, от пола до потолка, были густо, с перебором даже, завешены Володиными работами.

Поистине замечательные гуаши эти висели вплотную одна к другой, создавая и сложные фризмы, и негаданно вертикальные, спонтанно образовавшиеся группы звонких, броских работ, и как будто бы хаотичные, но зато и парадоксально выразительные композиции.

На них, вторгаясь в налаженный уют, в очерстевший или осточертевший быт, в будничную бессмыслицу некоего порядка, вроде бы и терпимого, но, на поверку горького, страшного, поднадзорного полусуществования, краткого ли пребывания, долгого ли заточения, трудно сказать, но чему-то смешанному из этого сущего безобразия, вопреки всему скучному, чуждому для души и для глаз, вопреки приобретательству явному, во имя изобретательства, творчества и волшебства, раскованно и свободно, во всей своей безусловной красе своей, щедро цвели невероятные, дивные, сказочные цветы – грустные в основном, но попадались меж них и живо напоминающие неистовые, музыкальные, ранимые, празднично-радостные, световые звучащие всплески.

Некоторые из этих яковлевских цветков походили порой на скульптуры – до того они были рельефны, до того фактурны, казалось – можно было их обойти со всех четырёх сторон, как выставленную в зале скульптуру, а в чём заключался секрет небывалого этого, в тупик знатоков заводящего, задающего всем загадку без отгадки, вопрос любой оставляющего без ответа, оптического эффекта – сказать невозможно, это существовало только в области невыразимого.

Цветок-пропеллер, трагический крестообразный цветок, два цветка на глухом чёрном фоне, цветок в прозрачном стакане, цветы в узкогорлом кувшине, цветы на краю стола, цветы на широком, длинном, солнечном подоконнике, цветы посреди природы.

Цветок – (безусловно) – звук, цветок – (несомненно) – знак, цветок – (неужели?) – крик, цветок – (в самом деле!) – взгляд.

Цветок – (почему-то) – вздох, цветок – (для кого-то) – шёпот, цветок – (от кого-то) – привет, цветок – (не тебе ли?) – укор.

Хризантемы, влажные, мягкие, мохрящиеся своими длинными, чуть изогнутыми, легчайшими лепестками, с усилием приподнимающие головы и внимательно, подобно звёздам осенним, глядящие вам в глаза.

Розы, едва распустившиеся, с тугими, напоминающими кулачки плотно сжатые детские, обиженно подобранными, напряженными бутонами.

Каллы, белые, с жёлтой сердцевинкой, на длинных зелёных стеблях, живописными стайками распрямляющиеся, словно позирующие кому-то.

Цветы и вовсе неведомого, может и неземного, кто его знает, всякое бывает, происхождения.

Ромашки, столь сильно любимые Володей, что стали частыми, на работах, само собою, гостями у него.

Женские, монументальные, да и только, портреты, огромные, а не просто большие, форматом в полноценный ватманский лист, отовсюду к себе притягивали взгляд – и столько всего в них было, в этих дамах, столько таилось в них и трагичности, и желаний настоящей, чистой любви, и усталого понимания, и негаснущего тепла, и сочувствия, и участия, и ещё не растраченной ласки, что смотреть на них становилось, постепенно, совсем тяжело, а потом и действительно больно.

На одной из гуашей, в углу, громадная чёрная кошка, хищная, жуткая просто, зверюга из Апокалипсиса, сверкая глазами жёлтыми, злорадно, победно скалила, беспощадно ощерясь, острые, цепкие зубы, в которых трепыхалась вяло беспомощная, обречённая на съедение и не чающая спасения, беззащитная пёстрая птичка.

Другая птичка, свободная, розовато-белая, призрачная, гриновская, возможно, из мечтаний, из давних грёз, летела куда-то, раскинув, над пространством и временем, сильные, с упругими, гибкими перьями, широкие, светлые крылья.

Рядом с нею плыл по волнам одинокий кораблик с красным, как заря, наполненным ветром дальних странствий, весёлым парусом.

Рядом с этим корабликом, выпучив любопытные, круглые, зоркие глаза, растопырив острые плавники, раскрыв, точно веер, свой павлиний, радужный хвост, поглядывала на меня доверчиво и лукаво золотистая скромная рыбка.

Очередной «Портрет ветра», новая версия, делал погоду в комнате. В этой необъяснимо загадочной пуантели, в мельтешении мотыльковом, сгущении лепестковом, нагнетании дружно роящихся, бесчисленных красочных пятнышек, точек, брызг, во всей этой странной, завихряющейся, по кругу, по спирали, разнообразной, непрерывно куда-то движущейся, беззаконной, интуитивной, торжествующей геометрии, в этом полном отсутствии логики, но, конечно же, явном, и даже подчёркнуто декларативном, вот, мол, здесь мы, с вами, присутствии, по-домашнему, как-то по-свойски, по-простому, тайны и чуда, проглядывало, казалось, взволнованное лицо самой воздушной стихии.

Среди прочих работ были дивные натюрморты, по-детски наивные, городские совсем по-яковлевски, так, что сразу не разберёшь, дом ли это, блочный, окраинный, или дерево, или даже законная рожица, ребусами и шарадами неразгаданными оказавшиеся пейзажи, с их строениями пчелиными или, может быть, муравьиными, с их скворешнями, обернувшись теремами многоэтажными, с изобилием стен и контурами человеческих грустных фигур, грибы и фрукты, «Портреты леса», бабочки-души, кричащие или плачущие лица с крестами грубыми на искусанных в кровь губах, своеобразные слишком, Володины, не такие, как у всех остальных, абстракции, несмотря на такой вот жанр – всё равно почему-то предметные, особенные, и на них проступали сквозь наслаения красок брезжущие, сквозящие, недосказанные, но всё же лишь угаданные вначале, а потом и вполне различимые, не статичные нет, всё время пребывающие в движении, непрерывно перетекающие, как вода, из яруса в ярус, на востоке, в каскаде фонтанов и прильнувших к ним водоёмов, с постоянством завидным, друг в друга, чтобы выглянуть вдруг наружу из орнамента ритмов, образы.

Свёрнутые в рулоны, чем-то напоминающие трубы Архангелов с древних икон, колонны античные, срезанные фрагменты широких древесных стволов, работы стояли в каждом углу,

высокими кипами за шкафом пылились, виднелись под тахтой, лежали везде, где только для них находилось ещё свободное место.

В Володиной же клетушке число, хотя бы условное, приблизительное, на глазок, работ его, щедрых творений духа и вдохновения, определить, пожалуй, было даже не затруднительно, а, наверное, невозможно, да, конечно же, невозможно, никому, так их было много, никому, в том числе и родителям, в том числе и ему самому, да, признаться, он сам их сроду не считал, для него было главным и действительно важным одно лишь – создать, написать гуашь.

Склад какой-то – другого слова, как ни бейся, не подберёшь, – вот что было в клетушке творческой, в одинокой Володиной комнате.

И если, всё время, изрядное количество этих работ, убывало, бесследно, порою, в чьи-то руки, почти ежедневно, попадая, навек уходя, разбредаясь потом по коллекциям, и отечественным, столичным, большей частью, и заграничным, чтобы жить своей жизнью, отдельной от художника, там, вдалеке, ну а где конкретно, художник зачастую сам знать не знал, то вскоре, буквально сразу же, по традиции, по привычке, потому что не рисовать, хоть недолго, для передышки, пусть и краткой, Володя, труженик и подвижник, просто не мог, рисование было его постоянным и ежедневным занятием, вечным спасением, возможностью ощущать себя живым в окружающем его, достаточно страшном, безумном и для него, и для прочих, наверное, тоже, меркантильном, зловредном, злопамятном и жестоком на редкость мире, ощущать себя – создающим настоящее, а не ложное, с кровью давшееся искусство, – потому ведь и рисовал, как дыханье, цenia это, Яковлев непрерывно, сверхинтенсивно, жил – работой, процессом творческим, жил – видениями своими и своими волшебными образами, – ну так вот, по рабочей, устойчивой и упрямой его привычке залежи эти тут же пополнялись вещами новыми.

Было это, надо признать, единственное в своём роде творчество – напоминающее гигантское производство, с колоссальным перевыполнением всех мыслимых планов, норм, с нарушением всех правил, с выплёскиваемой в охотку на листы бумаги, громадной энергией, творчество дерзкое, одержимое, безоглядное, в желанном, почти непрерывном состоянии транса, чистое, интуитивное, детское, взрослое, самоотверженное, с полнейшей отдачей, творчество мощное, продуктивное, на диво многообразное, – причём, надо помнить, всё это, все эти кипы и горы, залежи и завалы работ, среди которых, вдруг, пачками, целыми сериями, нежданно всегда, обнаруживались не просто сильные вещи, нет, сплошные шедевры, создавал один человек, один-единственный, – маленький, крупноголовый, черноволосый, черноглазый художник Яковлев.

Некогда было мне, к великому сожалению, рассматривать нынче Володины удивительные картинки.

– Потом, посмотришь, потом! – смущённо и несколько нервно сказал он мне. – Хорошо? Давай скорей заниматься.

– Давай! – согласился я.

Володя принёс потрепанный учебник литературы для шестого класса. Потом откуда-то сбоку вытащил, поёрзав и побряхтев изрядно, свои тетрадки.

Я раскрыл одну из тетрадок, на обложке которой крупными, вкривь и вкось идущими буквами было выведено: «Тетрадь по русской литературе ученика шестого класса вечерней средней школы рабочей молодёжи номер такой-то Яковлева Владимира Игоревича», – раскрыл – и тихо, но так, что сам изумился, ахнул.

Боже, что я увидел!

Володя ведь был слепой. Почти. Ну, полуслепой.

Рисую, он прижимал вплотную, так придвигал лицо к работе, что с нею становился единым целым.

Очки ему периодически покупали раньше родители, но он очки эти вечно терял или разбивал. Тогда очки покупать ему перестали – зачем попусту деньги тратить? Влетают очки в копейку. Авось и без них обойдётся. И Володя – без них обходился.

Сверкал своими бездонными глазами, в расширенных, чёрных зрачках которых магически, провидчески отражался то дневной, золотистый, солнечный, то ночной, электрический свет. И видел мир – как умел.

А видел он всё насквозь. Особое было зрение, сверхзрение, может, некое вселенское, у него.

И об очках, с чудовищными какими-то впрямь диоптриями, вроде ему и нужных, а вроде бы и ненужных, как-то сразу все, не стовариваясь, почему-то вдруг забывали.

В тетрадке был текст, написанный Володей. Но не был он текстом – в прямом, привычном смысле этого слова.

Буквы были в нём не написаны. Буквы были в нём – нарисованы. Слишком крупные, в меру неровные, то корявые, то густые, буквы жили своей особенной жизнью, жили, как им хотелось. И казалось, что буквы движутся по странице. Во всяком случае, помню это, как встарь, отчётливо, я почувствовал их движение.

Буквы, порознь сперва разбредаясь, а попозже соединяясь, образовывали слова. Сочетания этих слов представляли собою – рисунок. Да, представьте, именно так.

В тетрадке написаны были – рукой Володиной творческой нарисованы – буквы, вроде, и слова, да, вроде бы так, но это были всё те же яковлевские цветы, натюрморты, портреты, пейзажи, абстракции, что и всегда, такие же точно, какие стояли в углах, лежали, висели вот здесь, повсюду, на стенах, по всей квартире.

Поразительно! Я не знал, растерявшись, что и сказать.

При всём при том в каждом слове было невероятное число нелепых ошибок. Ну что ни слог – то ошибка. Но такая ошибка оказывалась то цветком, то портретом, то рыбкой, то ещё чем-нибудь, что вызвало к жизни, явью магической сделало Володино воображение, которое он добросовестно старался загнать в тесноватые рамки задания школьного.

Мы начали с ним работать.

Определили тему заданного сочинения. Поговорили по теме.

Володя тут же, немедленно, интуитивно, высказал свои, весьма любопытные, дельные соображения о том, как видит он сам своё сочинение, как бы он его написал.

Я действовал не наобум, но по всем положенным правилам.

Благо, был у меня и некоторый опыт. Мне уже приходилось подрабатывать в школе, и даже у себя на родине, летом, принимать однажды приёмные экзамены в институте.

К тому же, лучшим примером для меня была моя мама, преподававшая русский язык и литературу в школе. Мама была учителем настоящим, редчайшим, от Бога. С детства я помогал проверять ей ученические тетради, бесконечные сочинения, изложения и диктанты. И теперь, приезжая к родителям, я старался ей помогать.

Надо было помочь и другу.

Мы вдвоём написали план. По пунктам, как полагается.

Я, на всякий случай, попроще, подходчивей, симпровизировал пресловутое сочинение, произнёс его внятно вслух.

Володя слушал меня терпеливо, как-то чрезмерно внимательно – и на глазах всё грустнел и грустнел почему-то.

(Покуда мы занимались, ученик Володин, пыхтя, продолжал рисовать яблоко. Мы о нём и забыли на время.)

– Пиши! – сказал я Володе.

Он тут же сосредоточился.

Сгорбился, как старичок, сжался в комочек, ссутулился, низко, бумаги касаясь, наклонился над школьной тетрадкой.

Ухватил, словно кисть щетинную, в свою маленькую, почти детскую, птичью даже, лёгкую руку перьевую, с чернилами чёрными, допотопную авторучку, наконец-то вывел в тетрадке загогулины, что ли, какие-то, – нет, пожалуй, первые буквы.

Я пригляделся. Боже! Что ни буква – цветок.

Яковлев – (ученик шестого класса!) – писал.

Всем лицом своим, носом, взъерошенными волосами, губами, глазами нависал он – (школьник, и только, молодец-хорошист!) – над тетрадкой.

Он так приблизился к ней, что, казалось, вошёл в неё, запросто, свободно, привычно, уверенно, как входят в открытую дверь.

Иногда он слегка выпрямлялся – и, пронзительно щурясь, вглядывался в белую, разлинованную тетрадную страницу, отчасти уже заполненную каракулями его, графикой, так вернее, точно так же, как смотрят в окно.

Яковлев – очень старался.

Он шептал себе что-то под нос.

Он бурчал непонятное что-то, шевелил то и дело губами.

Он поставил на белой странице жирную чёрную кляксу – и тут же преобразил её в летящую к свету птицу.

Эта птица так и рвалась за край страницы, за грань, – тесно и скучно было ей находиться в школьной тетрадке.

Он написал ещё несколько неразборчивых слов – и вдруг резко, взмахом одним, от себя отодвинул тетрадку.

Бросил ручку на стол.

Откинулся корпусом всем на спинку скрипучего стула, медленно распрямился.

Встряхнул над столом своими оживающими руками, точно так же, как птицы взмахивают расправляющимися крыльями.

Шумно вздохнул. Помедлил.

Потом взглянул на меня.

И категорически, так, что всё стало ясным, изрёк:

– Всё! Не хочу больше мучиться! Хватит уже. Надоело.

Я не стал ему возражать.

Просто взял да придвинул к себе яковлевскую тетрадку – и, минут за десять, наверное, написал в ней короткое, простенькое школьное сочинение.

Володя, вначале насуплено, молча, недоумённо, а потом уже и с интересом, наблюдал в это время за мной.

Я закрыл тетрадку – и вот, с чувством выполненного долга, с облегчением, если честно говорить, – протянул её Яковлеву.

– Сочинение здесь. Потом перепишешь сам. Хорошо?

И Володя мне улыбнулся так восторженно, лучезарно, будто, слава Богу, теперь-то, на глазах его, совершилось нечто кровно, жизненно важное и спасительное для него.

– Хорошо! – почти закричал он, оживая вновь. – Замечательно!

– Чего уж тут замечательного? – спросил я недоумённо.

– Как это? А сочинение? Ведь оно уже – есть! Значит, в школе за него не поставят мне двойку. Я потом его перепишу. Постараюсь поаккуратнее это сделать. Но только, знаешь, я ошибки всё время делаю. Эх, досада! Ну как мне быть?

– Я тебе написал сочинение без ошибок, – заверил тут же я его, – можешь быть спокоен, в нём ошибок попросту нет. Позже ты его перепиши слово в слово. Двойки не будет. Всё там грамотно. Тема раскрыта. Ну, так что ещё надо, скажи?

– Да, действительно, что ещё надо! – ликовал Володя. – Спасибо! Ты мой друг настоящий, я знаю. Навсегда. Молодец, Алейников!

– Брось, Володя, – сказал я, – зачем так уж хвалить меня? Дело несложное. Пустяки. Подумаешь – сочинение!

– Да, да! – подхватил Яковлев, – подумаешь – сочинение!

Он вдруг помрачнел, напрягся. И как-то недоумённо, сам себя почему-то спрашивая, сам себе удивляясь, вымолвил:

– И зачем я пошёл в эту школу?

– Ты хотел ведь этого, сам, – резонно заметил я.

– Да, хотел, – подтвердил Яковлев. Поразмыслил секунду – и разом вскинул голову, сузив жгучие, с тайным пламенем, угольно-чёрные, прозорливые – сквозь незрячесть побеждаемую – глаза. – А теперь не хочу! Надоело. Надоело. Теперь – не хочу. Ну чему они там, в этой школе идиотской, меня научат?

– И действительно, – поддержал я его, – ну чему они там, в этой школе, тебя научат? Создал ты целый мир. Живёшь, как известно давно, искусством. То есть, ты – человек искусства. Ты художник. Прежде всего. А какой ты художник – ты сам хорошо, лучше всех знатоков, собирателей, критиков, знаешь.

– Да, да, – закивал, соглашаясь, Яковлев, – я художник. Прежде всего. Художник!..

И вдруг, ни с того ни с сего, вроде бы, – спохватился.

– Володя! Мы тут с тобой сидим вдвоём, занимаемся. Время идёт. Я вспомнил: у меня ведь там – ученик!

– Наверное, он давно уже нарисовал твоё яблоко и ждёт тебя не дождётся, чтобы узнать, что ты скажешь ему о его рисунке, – сказал я на это, чувствуя, что Володя опять взвинтился и готов немедленно действовать.

– Пойдём-ка к ученику! – заторопился Яковлев.

Мы встали из-за стола парадного, лакированного, родительского – и прошли в Володину комнатёнку, чтоб увидеть в ней результат отнюдь не наших, не школьных, ученически-сочинительских, но иных, рисовальных трудов.

Ученик Володин сидел на краешке старой тахты и терпеливо, смиренно, ждал нас. И мы – пришли.

На листе бумаги, который на мольберте пристроен был, мы увидели заурядное, по-школьному слишком уж тщательное изображение яблока. Но, похожее как-то фотографически правильно, сознательно реалистичное, было оно – безжизненным.

Яковлев, как обычно, вплотную лицо приблизил к рисунку, за километр отдающему не простейшим, что стерпеть ему, пусть через силу, как-то можно было ещё, но кондовым, даже махровым, вопиюще тупым реализмом, декларируемым открыто благонравным учеником. Со стороны казалось, что Володя решил понюхать это яблоко, нарисованное по канонам, по нужным правилам, наподобие директив или даже приказов сверху, от властей, дабы все их знали и старательно исполняли.

Никакого запаха в скучном рисунке, естественно, не было. Не было и малейших, пусть и робких, признаков жизни. Так, невесть что, и только, рациональная схема яблока, чётко прорисованная острым карандашом.

Яковлев, не сдержавшись, поморщился. Отошёл от мольберта. Присел. Сощурился издали на рисунок. Густые брови его шевелились. По-птичьи нахохлившись, он сидел в стороне отрешённо, неподвижно, – сидел и молчал.

И вот Володя не выдержал. Что-то необъяснимое, но такое, чему повинуется настоящий художник немедленно, понимая, что импульс этот, самый верный, первоначальный, всю погоду в дальнейшем делает, вдруг его за собой повело. Рывком, не просто стремительным, но, скорее, молниеносным, поднялся он с места. Взлетел, – нет, решительно взвился вверх.

Наспех, лишь бы только держались, прикрепил канцелярскими кнопками к прогнувшемуся куску желтоватой старой фанеры, стоящему на мольберте, – (предварительно сняв аккуратно рисунок ученика и отложив его в сторону), – свою, на ходу подвернувшуюся под руку, ту, что попалась, четвертушку слегка измятого ватманского листа.

Взял, не глядя, на ощупь, цепко, три большие щетинные кисти. Окунул их в банку с водой. Потом эти кисти (каждую – в стеклянную баночку с краской нужного, точного цвета), как во сне, в полёте свободном над землёй, окунул в гуашь.

Сощурил полуслепые глаза. Буквально мгновение помедлил: перед порывом – туда, к своему труду.

Качнулся вперёд, к бумаге, – всем телом, лицом, глазами. Качнулся – войдя в свой ритм. Вернее – войдя в транс.

Прикоснулся кистями к бумаге – и на ней мгновенно возникло сотворённое на глазах у нас – чудом, что ли? – волшебное яблоко!

Было яблоко это свежим и настолько живым, что хотелось мне потрогать его. Казалось, это яблоко пахло, да как!

Вместе с тем это был – обобщённый образ яблока, то есть – искусство.

При виде такого чуда потрясённый вконец ученик лишь руками развёл растерянно. Что ему оставалось делать?

Володя, на стол положив кисти, взглянул на него бегло, потом на меня, – и спокойно сказал:

– Вот и яблоко!

Только что созданная гуашь, будто бы, не без лукавинки, не без юмора даже, но всё же и вполне серьёзно, с достоинством, пробудившимся в ней, переглядываясь и с объектом самим рисования, то есть, с яблоком на столе, и с беспомощным, ученическим, реализму верным рисунком, уже начинала жить собственной, независимой от них, полноценной жизнью.

Дальше произошло нечто невероятное.

Натуральное, то есть, съедобное и, наверное, вкусное яблоко со стола неожиданно скатилось и упало на пол – и вот, укатившись куда-то сразу же, – может, в угол, а может, в пространство, ну а может быть и сквозь время, – вдруг исчезло из поля зрения.

Порыв холодного ветра, вдруг ворвавшийся из ниоткуда, грохнув резко и повелительно распахнувшейся тут же форточкой, подхватил реализмом кондовым переполненный с перебором ученический скучный рисунок, закружил его в воздухе дымном, потащил, как в какой-то природной аэродинамической трубе, в соседнюю комнату – и с силой немалой вышвырнул в приоткрытую узкую створку затенённого шторкой окна.

Солнечный луч прямой разом, ликуя, осветил – яковлевский, магический образ волшебного яблока.

Таким вот, магически созданным, сотворённым навек, рукотворным, притягивающим свет, реальным, волшебным яблоком представляется мне сейчас начало семидесятых.

Символ этого времени – яблоко.

Чьё земное, а может, небесное и чудесное существование несомненным стало для всех при счастливом соединении двух условий: блаженного, творческого, жреческого, ясновидческого, подвижнического труда и, конечно, Божьего дара.

Природное, так и не съеденное, хоть, наверное, вкусное яблоко – укатилось куда-то в пространство, сквозь ненастные времена.

Скопированное слишком старательно, пусть отвечающее требованиям нелепым какого-то, в приказном порядке, что ли, навязанного властями, «отображения действительности», не творческое, вне горения и дарения, и поэтому неживое – просто кануло в небытие.

Созданное настоящим художником, прирождённым, от Бога, творцом – осталось.

Пройдёт ещё несколько лет – и символом очевидным середины семидесятых для меня опять-таки станет яковлевская работа: светоносный белый цветок на чернеющем глухо фоне разгулявшегося бесчасья.

Но это – потом, с годами.

А в начале семидесятых – уже катятся в даль куда-то чьи-то судьбы, уже, за ненадобностью, отсеиваются, всё чаще, всё больше, мертворождённое, показушное, разрешённое, остаётся и укрепляется, чтобы выжить, – лишь настоящее.

* * *

...Ветер ли свежий с востока ночью, во тьме, из глуби времени и пространства, разъятого, для кого-то, и собранного мгновенно в единый, предельно сжатый, энергетический сгусток, распахнутого, на север, на запад, на юг, на восток, и вытянутого зачем-то, как мост, посреди вселенской, в движении вечном, жизни, для памяти и для речи, для новой, желанной встречи, сюда, в укром киммерийский, в мой дом и в сон мой тревожный, где вновь чередой видений томило меня былое моё, налетел внезапно, ворвался с вестью о чём-то далёком и незабвенном, или что-то ещё случилось в мире нашем, право, не знаю, трудно сразу понять, и, тем более, трудно сразу об этом сказать, – да только с утра лежали на влажной земле, на садовых дорожках, и на ступеньках крыльца, и у двери входной, не шурша ещё под ногами, под ледком ещё не хрустя, раскалённые, жаркие груды воспалённых, иссиза-алых листьев дикого винограда, над которыми сызнава пели, бормотали, меланхолично и тихонько что-то играли, так прощально и грустно звучали посреди осенней, с избытком чувств, и дум, и надежд, поры, в удивлённо-прохладном, чутком к звукам этим, густеющем воздухе, отрешённо-звонящие струны устремлённых вперёд и ввысь, по привычке давней, упругих, оголённых, устало вздыхающих, о какой-то потере скорбящих и упрямую веру таящих в предстоящее с новой весной возрождение, цепких, выносливых, вдохновенно, в любую погоду, сквозь преграды вьющихся лоз...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.